

## УТОЛИ МОИ ПЕЧАЛИ

Повесть

*Дочерям Алене и Маше*

*Аще не обратитесь и не будете яко дети, не внидете в Царство Небесное.*

Евангелие от Матфея, 18, 3.

### Часть первая

#### I

Иван Краснобаев учил свою дочь Оксану уму-разуму и чуял, что у чадушки в одно ухо влетает, в другое вылетает, — психовал и даже замахивался в сердцах.... В кочкастом ли таежном распадке, где брали голубицу, и Оксана, быстро сбив охотку, отворачивалась от ягоды, куксилась, облепленная комарами, и до времени просилась домой; в сухой ли степи, белеющей низкорослыми ромашками, когда брели в деревню с полными ведрами голубицы и уморенное чадо хныкало, садилось посередь дороги; в лодке ли на озере, где ловили окуней на короткие уды, и дочь шалила, упуская поклевки, и сама чуть не падала в озеро, — в таких случаях Ивана вдруг обжигала злоба, и, ослепнув от сладостной и нестерпимой досады, орал на дочь, вскидывал руку беспамятно, пуще разжигаясь испуганным и непутевым лицом Оксаны, но... вдруг солнечным роем на почерневшем избяном срубе виделось ему свое детство, — Господь Мироносный с неба ли синего, из желтых свечовых сосняков, с приречных лугов, из озерной глади являл глазам это коротенькое видение, заслонявшее собой дочь, — и вознесенная Иванова рука смущенно опускалась, после чего он мучительно искал удобного случая, чтобы повиниться перед Оксаной, приласкать, пожалеть дочурку.

Поминался в таких случаях и отец, Царство ему Небесное; слышалось: тихо, исподволь, потянул родимый «ямщика», повел с хрипотцой помыкивающий голос в забайкальскую степь, где ни деревца, ни вербочки, ни тепло-желтого огонька, но с шуршанием лижет дымная поземка-поползуха синюю и печальную голь-голимую, теревит ковыль на буераках, тащит в мутную прорву клочки перекасти-поле, да поскрипывают, коротко взвизгивают полозья саней.

Бывало, слушая и переживая ямщичью печаль, что звучала сама по себе, с протяжной и услаждающей кручиной вздымаясь из памяти, оживал перед обмершим взором февральский день из далекого-далекого детства, когда сретенская оттепель зажгла снега, и они заиграли искрами, слепящими глаза.

#### II

Поехали они тогда по жерди для прясел — отец собрался по новой городить огород, обносить его свежим тыном; старый отрухлявел, качался и валился, будто на развезях, и держался на тряпичных подвязках да на добром слове; и пакостливые деревенские иманы со своими юркими козлятами шуровали сквозь тын, раздвигая его рогами, или скакали через верх там, где прясла пьяно вышатывались в улицу и клонились к зарослям лебеды и крапивы. Забравшись в огород, иманы жадно накидывались на картофельную ботву, стригли ее, чисто саранча, пока их не гнала в шею мать или маленький Ванюшка, с ревом бегая по картошке, кидая сухие комья земли. Обычно долго метались ошалелые иманы вдоль тына, со страху не видя свой лаз, доводя Ванюшку до яростных и отчаянных слез.

— Н-но, камуха! их побери, а!.. адали Мамай прошел! — серчала мать, горько осматривая порушенные гряды, и тут же кидалась на отца, ворчала заглазно: — Вот отинь<sup>2</sup>-то, а!.. Вот лень-матушка! — все ему некогда, все у него руки не доходят новый тын поставить. На одних соплях доржится... — мать затыкала прорехи случайными кольями, прикручивая их к тыну пестрыми вязками и ржавой проволокой. — Да разве ж это иманов остановит?! Ох, и навязалась же эта пакость на мою шею, прости Господи. Верно говорят: хошь с соседом разлаяться, заведи иманов. Везде пролезут... Уж хоть бы собрался наш Мазайка, — так иной раз от досады дразнила мать отца, — да хоть бы мало-мало подладил тын, а то уж замоталась в труху с этими иманами...

И вот решил-таки отец обновить гордббу, а старый тын вместе с пряслами пустить на дрова, и мать по этому поводу качала головой, недоверчиво улыбалась, с притворным испугом округлив свои и без того большие, навывате глаза.

— Н-но, девти, беда-а — в огороде лебеда, — косясь в горницу, где отец чинил сети, подмигивая, шептала своим девкам, пятилетней Верке и девятилетней Таньке. — Н-но, дети мои, однако, погода переменится, дождь зарядит посередь зимы, — ишь как папаня наш раздухарился. И в кои-то веки...

Но прежде, чем браться за тын, нужно было заготовить листовничных жердей на прясла, а после и осинника на тычки, — вот отец и наладился в ближнюю таёжку. Собрался с вечера, а за ужином, будто ненароком, будто просто так, для разговора, спросил своего девятилетнего сына:

— Ну чо, Ванька, в лес поедешь?

От того, что отец, обычно хмурый, неговорливый среди домочадцев, а по пьянке буйный, куражливый, заговорил с ним, как с ровней, да еще и позвал в таёжку, сын тут же подавился горячей картошиной, выпучил глаза и закашлялся. Мать сердито похлопала его по спине, сунула кружку молока запить, и накинулась на отца:

— Не дури, папаня, не дури, — застудишь парня. В снег там по уши залезет, полны катанки начерпат, да так с мокрыми ногами и поедет. Дивно ли время в жару валялся, едва отвадились, да и по сю пору сопливает.

— Кто сопливает?! — взвыл возмущенный парнишка, обиженно шмурыгая сырым носом.

— Во-во!.. Пойди под умывальник, выколоти нос. А то ишо и в тарелку уронишь...

— Вдвоем-то веселей, — дразнил отец Ванюшку, — да и подсобил бы. Здоровый уже, надо к работе приваживать.

— Ничо-о, — замахала руками мать, — вот маленько оттеплит, и съездите. Еще успеет наездиться... Завтра, чего доброго, еще и запуржит, заметелит, — кот наш половицы скреб.

— Дак ежели старый, из ума выжил, вот скребет... на свой хребет.

— Это чо мы?.. — пытливо прищурилась мать. — Третьего же дня Сретенье Господне отвели?.. Во, самые сретенские морозы и затрещат.

— Пошто?! Старики и так говорили: Сретенье — зима-лиходейка с красным летом встретилась, жди сретенскую оттепель.

— Не бери его, отец. Простудится... опять издыхать будет, потом отваживайся с ним. И школу пропустит. Он же вон какой неженка у нас.

При слове «неженка» сестра Танька хихикнула прямо в Ванюшкино разгоревшееся лицо и показала язык; тут же подпарилась к ней и меньшая, Верка, залилась смехом, толком и не разумея, над чем потешается. Ну, да той лишь палец покажи... Старшую Ванюшка пнул ногой под столом, а на младшую так зыркнул из-под осерчалого сведенных бровей, что та отшатнулась, как от зуботычины, и, вжимая головенку в плечи, стала испуганно и немигающе смотреть на брата, готовая удариться в рев.

— Ма-а-а... — захныкала старшая, вся сморщившись остроносым, синюшным лицом, открыв рот с настырно прущими вперед зубами, — ма-а-а..., Ванька опять дерется, опять пинатся...

— Я те подерусь, мазаюшко, я те подерусь! Ложка-то, вот она! — мать погрозила стемневшей деревянной ложкой, с которой давно уже слизали лаковую роспись и обьели края. — Мигом по лбу походит, вылетишь у меня из-за стола, как пробка... А ты не реви, не реви!.. Распустила нюни, ревушка-коровушка. Голова уж от тебя ноет... Кобыла вымахала, а все, как маленькая, нюнишь. Может, титю дать?!

Услыхав про титю, Верка, хотя и обиженная братом, хотя и наладилась реветь, тут же залилась дребезжащим смешком, словно бубенчик зазвенел.

— А то бы пусть поехал, — не то всерьез, не то лишь ради застольного разговора тянул свое отец, задумчиво попивая горячий чай, забеленный козьим молоком, полотенцем вытирая со лба густую испарину. — Одной-то ездкой не управиться, — много надо жердей на огород.

Ванюшка перестал жевать картошину, смотрел в закрытое ставнями окошко, в котором, как в зеркале, чисто отражались отец, мать, сеструхи и бледный лепесток огонька керосиновой лампы.

— Да у него и одёжи путней нету — все на горке спалил в труху, и катанки худые, подшивать надо. Всё, как на огне, горит.

— Да я же!.. я же собачью доху одену — в казенке висит! — задыхаясь от досады, со слезами на глазах вскричал Ванюшка. — А на катанки пимы сохатинные одену... Все равно поеду, вот увидите... Все ездют и ездют, а я один дома сижу... Нетушки, все равно поеду, вот-ка. Кешка Шлыковский уже сколь раз с отцом по сено ездил, а я чо, рыжий, да?! Поеду!

— Прижми свою терку, пока не стер, — заворчала мать. — Как стайку корове почистить, дак тебя днем с огнем не найдешь, а тут ишь заегозил, егоза.

— Все равно поеду, вот!

— Ладно, ладно, поедешь, — мать, наливая чай из самовара, незаметно подмигнула отцу. — Но сперва пойди да нос высмаркай об угол, а то накопил вагон да маленьку тележку. Ежели там в лесу-то сопли распустишь, мигом нос отморозишь. И будешь без носа... вон как дед Филя. Тоже в лесу отморозил, тряпочкой теперь подвязывают...

Танька — все ей неймется, все ей охота подсмеяться над братом, — тут же вообразив Ванюшку безносом, с черной повязкой поперек лица, похожим на старого рыбака Филу, опять захихикала, укрыв рот ладошкой, на что брат лишь покосился на сестру и крутанул пальцем возле виска: дескать, смех без причины — признак дурачины. Зато мать, не утерпев, достала ее ложкой по лбу, и Танька пулей вылетела из-за стола. Из горницы послышался глухой щенячий скулеж, — боялась девка реветь в голос, мать в сердцах могла и сырым полотенцем отвозить.

А Ванюшка, шумно высморкавшись под умывальником, докрасна растерев нос полотенцем, вернулся к столу.

— Ага-а, обманываете: сами говорите, а сами потом не пустите.

— Возьме-от, возьмет, — отмахнулась мать, укладывая подорожники в холщовый сидорок, — шмат сала, ржаные лепешки, четвертинку плиточного чая да горстку колотого сахара, — иди перевертывайся, спи, постель я вам с Веркой наладила, а то проспишь утром.

### III

Спал Ванюшка или дремал, Бог весть, но если и спал, то одним глазочком, другим — скрадывал: как бы отец без него не отчалил; и сон был похож на февральский день, призрачно белый, короткий, с воробьиный скок, и лишь рассвело, лишь засинел снежный куржак на окошках, увидел парнишка сквозь полусон, — сквозь березнячок и пушистые снега с цепочками заячьих следов, — как мать с отцом на цыпочках пошли из горницы в кухню и, запалив керосиновую лампу, вкрадчиво зашептались.

— Можно было взять, промялся бы маленько на свежем воздухе, а то чо все парится да парится в избе, — толковал отец, растапливая печь.

— Ага, жди, будет он париться в избе! День-денской на улице палит, не присядет. На горку кататься ускочит, дак и домой не доревешься. А ночью кхы да кхы — весь закашлится.

— Ну и вот, чем лодыря-то гонять, пусть бы лучше съездил, подсобил маленько.

— Не, не, не, — видимо, замахала мать рукой. — Лесина начнет падать, комлем взыграет, — он же, непуть, тут же сунется под ее. Не, не... Сопли морозить... Да и помочи-то от него, как от козла молока. В ногах будет путаться, мешать. Пусть хошь в выходной отоспится, а то запурхался с этой школой, совсем не высыпается. День проносится, вечером — уроки со слезами, а утром хоть вожжами подымай. Ничо-о, вот потепле будет — еще съездит.

— Смотри... а то по радио, вроде бы, оттепель сулили.

— Да наше радио соврет, недорого возьмет. Оттепель, дождайся, ага... Я ночью еще нарошно выходила глянуть: новый месяц еще не родился, а у старого деда сережки висят — опять на неделю завьюжит. И звезды к морозу пляшут... Пусть, отец, спит, не буди его.

Но Ванюшка, не поджидая, чем завершится шепоток отца с матерью, суетливо тянул на себя припасенную с вечера одежду; и в темноте, да к тому же спросонья, не мог путем одеть штаны, спылу записал ноги в одну гачу; потом, кое-как разобравшись со штанами, боясь опоздать, наперекосяк застегнул пуговицы на рубаше, обул катанки на голу ногу, и, взъерошенный, выскочил на кухню.

— Здорово ночевал, — засмеялся отец, глядя на сына, впрочем несколько не удивившись.

— Явилось, чудечко на блюдечке, — невольно улыбнулась и мать.

— Переобуйся хоть да застегнись путем... работник.

### IV

В таежку, налегке Гнедуха трусила убористой рысью; из-под копыт прямо в сани, а другой раз и в лицо сидящим смачно летели сбитые ошметки снега, пылила колкая поземка; но будто не чуяли этого отец и сын: Ванюшка дремал, укачанный в саях, — все же поднялись ни свет, ни заря, — отец задумчиво, чуть слышно напевал. Ловко поджав под себя ногу в ичиге, сидел в передке саней и, даже не шевеля вожжами, да и не видя сейчас самой кобыленки, прокуранным, уютно-печальным голосом в лад с подрагиванием саней сипло выводил на степной простор горемыку «ямщика», выводил из своего далека, обычно глухо припрятанного и полузабытого в душе. И не дыбилась из песни, как радостно чуял Ванюшка, пьяная, злая тоска, — сквозило лишь томление, легкое, светлое и безбрежное, словно голубоватая утренняя степь да призрачно текущая через проселок седа поземка. Отец, кажется, толком и не слышал, что напевает, лишь чуял отпахнутым сердцем; а что же нынче томило его душу поверх песенных слов, что явилось обмершему взору посреди степи? — он и сам, наверно, не смог бы ответить. Может, поминался дед Краснобай, Богу лишь ведомо когда и убредший из Псковщины и севший на жительство в степной и озерной Еравне, посреди заснеженной и вьюжной Забайкальской Руси. Может, оживали покойные мать с отцом — вечное блаженство их душам, и полыхали счастливые зори на отчем покосе, где его, такого же малого, как Ванюшка, учил отец верно держать литовку, потом — косить, не загоняя плотно в землю, и чуял он сопревшей от старания и натуги, ноющей спиной материн протяжный, через весь луг,